

Александр БАЛТИН

# МОЙ АМАРКОРД

## I. БЕСКОНЕЧНОСТЬ ОТЦА

Я напьюсь сегодня, драгоценный па, я напьюсь и умру, присоединюсь к тебе, ушедшему так рано, в 52 всего лишь, и мне, тогда девятнадцатилетнему, ты казался пожившим...

...Мы входим с тобой в таинственный пантеон советского бука: букашки: букинистического магазина, где старенькие, растрёпанные книги мерцают мистически, как глубоководные рыбы из-под стеклянных, чуть отливающих прозрачной зеленью стендов-прилавков; мы входим туда — с неопределённой целью и, не найдя ничего, что хотелось бы приобрести, логично сталкиваемся с личностью, чей портфель — разбухшее счастье тогдашнего книжника.

Он подмигивает. Ты отвечаешь. Бессловесно — выходим в пространство советской Москвы, делаем шаговый финт и оказываемся в подворотне, где, раскрыв бездны портфеля, спекулянт предлагает то, что ты непременно купишь, и, счастливые, мы отправимся домой, предвкушая чтение и обсуждая его...

Возможно, это четырёхтомник Андре Жида, никогда не переиздававшийся в Союзе, или крошечная, предел изящества, книжка из серии СЛП («Сокровища лирической поэзии»), оправленная, будто защищённая, в суперобложку, выполненную в эстетской манере, и — с мелованными страницами, с матерчатой закладкой в серёдке...

Совершенно неважно, кто это: пусть будет Пьер Ронсар, реформировавший громаду французской поэзии, или нежный и трепетный Рубен Дарио, первый из латиноамериканских поэтов взявший жезл всемирного признания...

Мы идём домой, па, мы погружаемся в гудящие недра метро, мы едем, зная, что мама ждёт — с прекрасным, соком смачности истекающим обедом...

Мы едем, па.

Твоя смерть была первой в моей жизни: не предполагалось, думал, ты... сколько-то увидишь из моей: ведь мы столько значили друг для друга.

Тогда, когда ты умер, мама отдыхала в санатории, в Прибалтике, и, отправив тебя ночью, — как маялся ты сердцем, белея в темноте комнаты, но только вторая бригада скорой помощи забрала тебя, — в больницу, я не спал, глядя на разворошённую постель, точно руина жизни, и утром, отправившись туда, узнал, что ты в реанимации.

Речь о 1987 годе, па, — ты помнишь: не пускали тогда, и я, выйдя в окрестный мир, ничуть не изменившийся почему-то, отправился в соседний с больницей скверик, сел на скамейку и, черно предчувствуя, зарыдал — под неистовый вороний грай, не сулящий ничего хорошего...

Финал июля тѣк аристократизмом жары...

Па, увидев тебя в гробу, я не вздрогнул, не испугался, я ощутил нелепое, странно ворочающееся в мозгу: он не дышит... Мой такой живой, такой переполненный жизнью па, которому всего-то 52 — не дышит...

Нет, знал, что дыхание невозможно, но это удивление — при столкновении с роскошным царством византийской ночи смерти, которая, возможно, есть свет, — потрясло настолько, что никакими словами не передать. Они — не вмещаются в смыслы: как нельзя вместишь взрослую ногу в детский башмак...

Мне кажется, я помню, па, — ты гуляешь со мной по Миуссам: упоительному московскому скверу; ты везёшь коляску, одновременно читая газету, и я, не могущий воспринимать реальность, вмещённый младенцем в лодку коляски (гротескно напоминающую лодку гроба), тем не менее, чувствую её, действительность трёх измерений — сквозь качающиеся надо мной, благожелательные ветви, полные (как сказал бы онтологический Олеша) листвой, и — вижу твоё благородное, доброе лицо...

Ты ведь добр и мягок...

Ты рассказывал, как рос дворовым мальчишкой — и драки устраивали до первой крови, но мне не представить это, па...

Вот я выхожу на Тургеневской, миную чёрного, скорбного Грибоедова, понизу, по цоколю, окружённому массой комически-гротескных персонажей, и, насквозь проходя Чистаки, сворачиваю в Хохловский...

Дом, где ты в крошечной квартирке с мамой своей и отцом рос и набирался жизни, цел: его не сносят и не реставрируют: он стар и дыряв: в окнах сквозит онтологическое одиночество, которое я испытываю, обращаясь к тебе, па...

Почему ты никогда не отвечаешь?

Условия тамошнего существования не позволяют, что ли?

Климовский — Иван Иванович — твой коллега-друг с крупными, странными озёрами глаз, физик, как ты, он докторскую защитил, па, утверждавший, что одним из первых в Союзе стал исследовать парапсихологию, говорил мне, что чувствует тебя и что ты доволен моей жизненной дорогой...

Ты ж утверждал, что писателем нельзя стать со школьной скамьи.

Я никогда не учился, па, — ты помнишь, жизнь моя пошла изначально криво, и когда мама, вернувшись раньше ожидаемого с работы, вытащила меня, двенадцатилетнего, из петли, ты, пришедший в обычное вечернее время, сидел рядом со мной, нелепым ребёнком, с головой накрывшимся пледом, и плакал, повторяя, что ничего из того, что было — не было...

Краешками глаз видел я лучи окон соседних домов: прокалывали мозг, как... твои слёзы, единственный раз виданные слёзы.

Теперь, па, сделаем вольт: тот, что позволяет ворошить память, для которой нет линейного движения и в которой всё совмещено совершенно причудливым орнаментом судьбы: сделаем вольт и... уйдём в Москву пятидесятых, где ты, обладая щедрым, бархатным баритоном (почему ты не стал делать певческую карьеру, па?), ходишь учиться безднам бельканто к Матовой, солистке Большого, певшей ещё с Шаляпиным; ходишь учиться, не предполагая, что Александра Константиновна, в честь которой я буду назван, прописала уже у себя маму, приехавшую из Калуги учиться в Москву; ты, молодой и задорный, спортсмен, всегдашний отличник, ходишь учиться к ней, не зная, что Лялька — моя будущая мама и твоя будущая жена...

Я не представляю тех ваших встреч, па: хотя в квартире Матовой, как ты помнишь, тянулись первые десять лет моей жизни...

Самая счастливая сумма сияющих детством лет.

Мама рассказывала, па: гости разошлись, Александра Константиновна — ногу ей уже ампутировали — лежала, гости разошлись, мама возилась с посудой... и вдруг ощутила: свинцовое, страшное, идущее из соседней комнаты; стало жутко, не сразу решилась идти туда...

Когда зашла, увидела — Матову мёртвой...

Был март. Я, па, родился в декабре того же года, и был назван, как ты знаешь, в честь Александров...

Финты воспоминаний — этикие гимнасты памяти: па, мы с тобой на — Набережной Шевченко: одно из немногих мест в СССР, в Москве, где можно купить экзотические марки: сочное место, колоритное, требующие Феллини лица... Спекулянты с раздутыми портфелями сразу вцепляются в любого, очевидно интересующегося: что нужно? Всё!

Па... ты же был природный коллекционер: после твоей смерти, разбирая шкафы и ящики, я нашёл сумму трамвайных билетов со всего Советского Союза: ты их собирал тщательно, видя в них — мелкие листки памяти...

Да, спекулянты обнажали портфели, доставали альбомы, и ты предлагал мне выбирать, и выбирал я, теряясь в цветных этих, марочных прелестях... военные униформы... динозавры... виды островов...

Япония — пишется Ниппон, па. Албания — Шкиперия...

А потом, когда шли к метро, ты говорил, улыбаясь: «Ну вот, Саш, потратил я пятнадцать рублей, а кто-то пойдёт в ресторанчик, чекалдыкнет стаканчик...»

Па, я ж говорил в начале рассказа, что напьюсь?

Алкогольная тема у нас не проявилась — в жизни: я видел тебя два раза поддатым, а во время застолий, организуемых мамой, было столько роскошной, раблезианской еды, что вы все — блеск компании, связанной с пением, с Матовой — выглядели вполне приемлемо...

Я знаю, отец, что ты не ведал, алкогольной меры, но, учитывая наше интеллигентное тепло семьи, не позволяя себе...

А я, бывало, разгуливался: уже после тебя, шлейф тянется, и алкоголь, так сгущая краски, выступает совместным Брейгелем и Ван Гогом, пишушим почему-то маленькую жизнь...

Как мы жили с мамой после тебя?

Представить — через духовное зрение, через кристаллы, не представимые здесь, на земле, в недрах вечного, скорбного вращения юлы юдоли — видел ты всё, видел пристрастно, а?

Как я начал писать, вращая в поэзию, как я, тычась в стенки лабиринта, искал выход к свету, как, одержимый необходимостью печататься, пробивался — долго, целые шесть лет, маленькая жизнь...

Как попал в печать, постепенно стали печатать много, так много, что и не представить...

Это не имеет теперь значения, па.

Литература изгнана из жизни — зачем она, со своей альтернативной явью?

Она ж нужна только для развития души, а эта субстанция совсем непонятна: особенно учитывая неистовое вращение блескуче-пошлых соблазнов последних десятилетий — которых бы ты, романтик, чистый душою — не выдержал: не оттого ли умер, убрали тебя, изъяли в той, ещё советской яви...

...Поминальный зал морга: скромный, маленький; у калужской тёти Вали — единственной практически, кого ты признавал из калужских маминых родственников, а я так их всех любил, пап! — спрашиваю:

— А где очки, Валь? Отец же в очках всегда был...

— В кармашке пиджака, Саш, — отвечает...

И — заходит другая тётя Валя: Мешкова. И, положив цветы в гнездо гроба, говорит:

— Как будто спит...

И я отвечаю резко, молнией слов:

— Нет. Не спит.

Па, встретил ли маму?

Я не могу прижиться, притереться к жизни без неё: сегодня — два с половиной года ровно, как я видел маму живой, и раз — видение просквозило: вы — я не спал, па, нет — словно в цветке золотисто-небесном, таком прозрачном, оба: и мама склонила голову тебе на плечо...

Вы ж ругались в жизни, па...

Зачем вы, разрывая пространство наших маленьких жизней, так ругались, пап?

Я пугался, забивался в угол...

...Я тоже теперь ругаюсь с женой — понимая, насколько не прав, падая в лужи пустых амбиций, взрываясь, измотанный жизнью, в том числе писаниной...

Ветвление рода, па!

Таинственные мерцания потаённой сути...

Ты говоришь, имея в виду своего отца, которого не мог я знать:

— Вот как дед бы тобой доволен был. И чтением твоим, и что пишешь, и всеми интересами твоими...

Бродим по Москве, отец.

Всю её — оттеночно-переулочную, такую неровную, византийски-великолепную, ты знал хорошо, но — брал с собою книжечки-путеводители, и...

Бродим, па, ты говоришь об этих улицах, и впитываю я драгоценную субстанцию твоей речи...

Сегодня ровно два года с половиной года, как нет мамы — пап...

Давай — под финал, которого нет, войдём с тобой в советский клуб нумизматов: ведь коллекционирование — страсть, передавшаяся мне от тебя — физика, путешественника, певца, собирателя, всего-всего, сколько в тебе бесконечности, па...

Клуб этот, таящий конкретную вечность нумизматического культурологического счастья, находился в церкви: атеизм, как вариант религии, сулящий свои букеты ощущений, — есть государственная печать; детей не пускают, но ты потихоньку съешь мягкую зелёную трёшницу — и вот: я — единственный ребёнок здесь. Где — столы, за которыми сидят старейшины, разложив все свои нумизматические варианты.

Клуб постепенно наполняется, становится многолюдно, пластается гладкий шум... Клуб наливается интересом, как виноград соком. И я — двенадцатилетний, с почти раскрытым ртом и восхищёнными глазами — взираю на монетную роскошь, понимая, насколько она связывает с историей, чей код не вывести, сколько ни тщишь, и культурой, позволяющей прикоснуться к своему телу всякому, кто пожелает, мало желающих стало; и мы бродим с тобой, па, бродим до бесконечности, любуясь и разговаривая, и потом ты купишь мне, хотя сам их любишь, скромную и изящную монету, и, счастливые, поедем домой, где ма, наша великолепная, драгоценная ма, ждёт нас с обедом...

## II. ТКАНЕВЫЙ УЗОР

Перед вечностью крошишь хлебные крошки воспоминаний — будто на корм голубям... Только голубей никаких нет, а тех, что знаешь по московскому изобилию, не заинтересовать такими...

С каких лет помнишь маму?

Вот ведёт из поликлиники, узкие перешейки внутри дворов и медленное движение к дому, огромному, роскошно-коммунальному — движение, смазанное твоим рёвом: вероятно, в поликлинике делали больно...

Будто снилось всё — два с половиной года без мамы сильно раскурочили психику, превратив тебя в нервный комок: ты — формально пожилой, приближающийся к шестидесяти, внутренне остаёшься ребёнком, забытым в Вавилоне Ашана, но... где же мама?

Вдруг появляющееся ощущение тотального сна: просто снилось всё, но ведь боль конкретна, она свидетельствует о том, что ты жив и не представляешь потустороннего бытия...

Встречают?

Ведь ребёнку на свет помогают родиться, значит — должна быть помощь и при рождении на тот свет; ведь утверждал индийский мудрец, что смерть просто гасит лампу, когда пришёл рассвет...

Попытка убежать из детского сада словно преподносит пёстрый ковер, будто бьющий по лицу, и массу ног, которые, ревя, стремишься обойти, чтобы присоединиться к маме, обещавшей, что не оставит здесь...

Детские воспоминания, залитые кислотами лет, смутным отзываются чем-то, словно коричневые разводы, идущие по живым фото...

...Мы собираем чернику: точки её чернеют под листьями, будет вечером мелькать перед глазами, мы собираем её с дядей и тётей, под Калугой, где часто бывали: мама ведь оттуда... Мы собираем её с мамой, и ощущение, пронзающее маленькое твоё сердца, велико: как же я люблю тебя, ма...

Ребёнок — тогда не соприкасавшийся со смертью: все были живы, и теперь, когда огромное количество любимых родственников переселилось на Пятницкое кладбище в Калуге (но не только), тот же ребёнок в тебе плачет воспоминаниями. Горько и слёзно.

Не получается иначе, отвлекаясь на что-то, разумеется, ведь занят, много дел, постоянно сбиваешься на колею мыслей о смерти...

Онтологическое парение.

Жуть и любопытство: такое испытал когда-то в советском детстве, впервые войдя в церковь; испытал, не забыть.

Идти в церковь? Но не чувствуешь ничего там или — не понимаешь, что чувствуешь, концентрируясь, словно отправляя послание в высоты. С мамой были здесь последний раз за полгода примерно до её смерти, уже тяжело ей было ходить, и вёл её, вёл, потом в церкви помогал...

Мама была чистой необыкновенно: казалось — ощущается сие физически. Называла себя Золушкой: обустроивала дом, хозяйство образцово сияло, всегда всё должно быть по её: мелкие стычки, возникавшие от этого, теперь не имеют значения... Что имеет?

Мамы нет...

Не представить калужское её девчончество: заводилой, вероятно, была, активной, лёгкой, улыбчивой. Мало фото осталось, но они не дарят тебе радости, никогда не любил фотографий, эту попытку обмануть смерть.

Почему мама не проявляется? Боится испугать меня?

...Во время войны была в эвакуации — с бабушкой, сестрой и братом, отец их, мой дед, погиб в первые дни войны: пограничник, пропал без вести, ухнул в огромную общую массу неясности смерти. Вероятно, ей, маленькой, довелось узнать голод — говорила, что самое страшное — он...

Всё представляю её с отцом, дедом своим, в пене пышного платица, и — как покупает ей пирожных: нравилось просто, как тычет пальчиком, выбирая: это... и это... А бабушка, шутя, ворчала, якобы ругалась, зачем столько, и отсмеивался дед Алексей: да уж очень она умильно выбирает. Умильно... Мило...

Наши собаки, ма! Дворняжка Джек: но — принц внешне, такой красавец, избравший меня хозяином, пудель Лавруша потом: он выбрал тебя, мам, ты помнишь? Спал в ногах, подстилала ему что-то...

Где твоя память, ма? Моя, перегруженная, болит, нарушая правила жизни...

Я пойду пройду, ма, на улице становится легче, одиночество квартиры надето на меня бременем, а внучок твой любимый с мамой сейчас на даче: играет там с ребятнёй. Мы оставались с тобой вдвоём, ма, когда уезжали они, а теперь я жарюсь на июльском

солнце одиночества...

Ты приехала в Москву в восемнадцать лет: какой она показалась тебе после Калуги? Тётя Саша, некогда знаменитая солистка Большого Матова прописала тебя в своей квартире, и меня, рождённого через двенадцать лет после приезда твоего в метрополию, в год её смерти, ты назвала в честь неё...

Говорила, что поступила в Пищевой институт... волею случая: в последний момент всё решилось, была уверена, что не попала, и вот... Рука судьбы, вектор её неотменимый, не знаем, кто направляет нас, ма, но направляет, очевидно, кто-то...

Будто каждый имеет миссию — маленькую, но миссию...

Мама ходила в магазины каждый день, оставляла сумки в ящиках, я, раздражаясь, забирал, всё ворчал — зачем так часто. Ей нравилось ходить в магазины. Теперь мне понравилось покупать еду, хоть так выбирать по качеству, как она, проработавшая сорок лет в Торгово-промышленной палате СССР, я не умею...

Ничего я не умею, ма, растерянный в жизни! Нет, занимаюсь аутотренингом, умею многое, многое получается, я не одинок, я живу насыщенно, а внутреннее состояние... Иногда оно бывает ничего, ведь прикидывал, как буду жить без мамы, оставаясь уверенным в том, что бессмертна.

...Малыш наш, внучок твой, года в два-три-четыре всё хватал тебя за халат, тащил как будто, улыбаясь, и ты восклицала шуточно-испуганно, а он требовал, маленький и забавный: «Оля, ку-ку...» И вы играли с ним в прятки, ты становилась в простенок или за дверь, а он в основном забирался под разные поверхности.

Когда гуляли, сказал раз: «Мы все долго будем жить, пап!» — и перечислил нас... Олей называл тебя, с прогулки всегда приносил то цветочки, одуванчики всякие, то листики цветные, дарил тебе...

Вот он в школу идёт: рано проснулся, волнуясь, и ты, ма, не пошла с нами, а год был ковидный, и в переулке происходило маленькое торжество, и вдруг, словно почувствовав, обернулся я — ты стоишь у маленького тополя, принарядилась, накрасилась, и бежит он к тебе, знакомит: «Оля, это Лиза, это Стёпа...» И улыбаешься ты детям, которых так любила, ма... Сказала в пятнадцатом году, когда нелады пошли со здоровьем: «Мне б дожить, как в школу пойдёт!» Оборвалось во мне что-то, ты, почувствовав, добавила: «У тебя жена есть, сын...» Есть ма. Тебя нет. Но ты же долго, долго прожила...

...Как тогда тебе было, когда только приехала в Москву? Как ты жила у тёти Саши? Не представлять мне пятидесятые, нагромождение непривычных форм и норм, знаю, что с отцом познакомилась у тёти Саши, к которой ходил учиться петь, разнообразно одарённый... Бархатный его баритон серебрился...

Я сплетаю ткань из отсутствия. Я плету её, ни на что не надеясь, ввергнутый в жизнь, растворённый в ней, сознание не растворить...

Я сплетаю тканевый узор, зная, насколько всё неповторимо или непоправимо, уходя в прошлое, которое, при определённых поворотах, выглядит как будущее, и зная, что если помогают ребёнку родиться, то должны помочь и умереть — то есть родиться в грядущую жизнь.

### III. РВАННАЯ ЛЮБОВЬ

Краски сгущаются, несмотря на былое, и видишь:

...Ты, толстый, нескладный, нелепый в жизни юноша, книжный донельзя, переживший тяжёлый пубертатный криз, сидишь возле библиотечных стеллажей, отстояв выдачу, читая толстый том, и — она: ещё не ведаешь, что и как с ней свяжет, заходящая к подругам на абонемент, на котором работаешь... Мимо идёт, спрашивает, общительна: «Что читаешь?» И краткий разговор с ней слегка оживляет — не вписывающегося пока в компанию эту, которая скоро станет твоей.

Молодёжная компания в конце восьмидесятых: в библиотеке занюханного вуза, где не только замшелые тётки работают, привлекала, и стал меняться на глазах, отказываясь от чтения, меняться двойственно: начал качаться, занимаясь атлетикой, и выпивать одновременно...

Мама говорила годы спустя: «Светка к нам домой, как невестка, ходит». Ну да, возможно...

Краски сгущаются неумолимо, лента рвётся — невыносимо, и, видя себя, едущего на похороны её, 39-летней, а самому 34, не понимаешь, как могут совместиться она и смерть, она и гроб, она — избыточно-живая, легко звеневшая серебристым смехом, так легко двигавшаяся, несмотря на пышную плоть — и потусторонняя лодка гроба, успокаивающая навек, уносящая в неведомость...

Девочки её, дочки десятилетней не было на похоронах; и огромная территория больниц смутила изобилием пространства, шёл наугад, и у тётки, сидевшей на

скамейке, спросил: «Не знаете, где тут морг?» Потёртая тётка со щеками, как два затёртых мыльных бруска, вскочила, чуть не крикнула: «Ещё лет десять не знать бы!» Интересно, жива ли теперь, спустя 22 года?

...На бульваре под золотящимися летними липами пьём пиво — баночное, столь редкое: излом Союза цветёт зигзагами грядущей безвестности; пьём, смеёмся, болтая шут знает о чём, вдруг говорит: «Знаешь, как мне приятно было, когда ты охапку сирени ту притащил!» С дачи — оборвал, сколько мог великолепных ломтей цветения...

Нет, дарил ей сколько-то раз цветы: великолепие роз ювелирно стыло в шуршащем целлофане; а на двадцатипятилетие — было ж когда-то! — договорился с двумя парнями с работы, что подарим французские духи: мама могла достать, но они отказались в последний момент, посчитав — больно дороги. Подарил от себя — за сорок рублей, половина тогдашней зарплаты, вызвав и восхищённый шепоток, и кривотолки...

Эффектна, соблазнительна, пышнотела, легка в общении: с кем угодно заговорит, может материться, хотя получается вполне изящно, пикантно... Добра, любит выпивку, компанию, рестораны... И ты — книжный маменькин сынок, вдруг выгранивший тело своё атлетикой, ярый читатель, сочинитель... Начнут печатать при её жизни: и период от первой публикации будет окрашен...

Ма говорила: «Она смотрит на тебя влюблённо!» Она замужем тогда была за твоим приятелем: но это не значило ничего... почти ничего: всё равно — брак распадётся скоро, уже подарив цветочек дочке Анюты...

Кадры первой твоей молодёжной пьянки: у подруги из той библиотечной компании, получившей однокомнатную квартиру: пустая, только стол и стулья. Магнитофон работает на полу, и Светка целуется с кем-то, и пьяная течёт атмосфера, вспыхивая странными огоньками изнутри, точно напоминающая тебе соблазнительно-парижскую, из книг...

Пошли выносить бутылки — под лестницу ещё необжитого дома, и сказал, пытаюсь обнять: «Ты целовалась с... А со мной?» Засмеялась: «Не бери дурных примеров!» — отстраняясь...

Почему не сложилось, не сплелось, не выкрутилось дальнейшее? Было бы хуже, если б...

Огонь одной из выпивок у тебя дома: женщина скоро выйдет замуж, и, вдруг оторвавшись от нескольких нас, идёт на кухню, пишет письмо и, запечатав его в конверт, протягивает тебе, вернувшись, а потом, после ещё нескольких рюмок, вырывает, рвёт, выбрасывает. Опьянение шло, сложились... И — в таком состоянии — билась на кухне, трепеща язычками огня: «И с тобой не могу, и без тебя... как мне тебя всю жизнь тащить?»

Вне мира — сочинитель. Не приспособлен к нему.

...Складывал обрывки письма: «У меня нет никого лучше тебя... счастлива, что узнала... но... мне пора замуж... я не смогу тянуть себя всю жизнь...» Текли по разорванному листу слова, исполненные её великолепным, щедрым и сильным почерком...

Время сгущается, но обещанная концентрация не представляет ничего, кроме шаровой бездны: которую едва ли сможешь истолковать...

Узнав, что живёт в доме, напротив твоего — о! огромный, целая страна, хребтовый массив пятидесятих, с огромным же, многоярусным каким-то двором внутри, — предложил, преодолевая робость, в самом начале знакомства ходить на работу, когда часы смен совпадали, вместе. Улыбнулась. Согласилась.

На следующий день утром ждал, куря, нервничая сладко, нечто предвкушая как будто... хотя — нечего было предвкушать... И длилось сколько-то краткое это совместное хождение: со смешком, анекдотами, шутками, разговорами о работе даже, которая тебя, ещё не проявившегося сочинителя, не интересовала вовсе, хотя поначалу и не тяготила...

...Сквозь лесопарк: а начинается от горбатого моста, по которому, важно переваливаясь, ходят трамваи, — сквозь лесопарк, насквозь проходя петлистые тени и нежное трепетанье листвы: сквозь него, щедрый, выходили к системе прудов — о! тогда, в финале восьмидесятых, они были чище, мы купались в них; купаться и шли...

Шли, рельефы местности мерцали, иные стволы, замшелые понизу, были альфою древесных гигантов, и пруды — словно врезанные в земельные чаши, открывались, сияя прозрачно-золотистой чернотой...

...Нежные завитки улиток краснели на бетонных бортах...

«Ну, руку ж дай, помоги выбраться...» И не знаешь, скованный, зажатый комплексами своими, словно распятый ими, как сказать — главное... Ждала? Понимала?.. Ведь говорила мама: «Ходит к нам домой, как невестка...»

Лёжа на пёстрой подстилке у берега пруда, болтали о всякой чепухе, и последний анекдот, услышанный где-то и повторённый мной с возможно комической интонацией,

снова затмевал никак и не идущие сокровенные слова...

Ехал на похороны...

Не виделись последний год или полтора, не виделись, ушла из объектива твоей реальности, хотя, узнав о твоём романе с будущей женой, взревновала выплеском, что-то резкое сорвалось с губ, потом... остановилось тотчас; державшая тебя... как вариант запасного аэродрома, понимала, что не вправо, не вправо...

Всё равно. Тридцать девять.

...Идём куда-то, не вспомнить цели, мимо сияющих витрин, вывесок банков, роскошных, по-вавилонски огромных домов, идём, говоря о том, о сём, и вдруг, словно сорвавшись откуда-то, произносит: «А я думала, мне вечно двадцать семь будет. Или двадцать восемь...» И улыбается — солнцу в ответ. Не хотела долго жить?

Гуляли в парке, в том числе в том, где пруды, гуляли, когда дочка у неё появилась, комочек плоти в коляске, гуляли, празднично выпитывая роскошь мая или июльскую спелость, и снова слова падали — легко, иногда шампански пьяня, порой — вообще ничего не знача... Потом — с дочкой бывала в гостях, и мама, так любившая детишек, раз пекла с нею пироги: забавно смотрелась девчушка, ныне взрослая, преодолевшая тридцатилетний рубеж, с лапками, перемазанными белым... Забавно.

Много смеха было, когда общались: вспыхивал он в ней в самом сердце души, и лицо трепетало вымпелами, и серебристо звенел в воздухе смех, затухая... Много смеха было — давно-давно: так, словно это всё кино, в котором с ней бывали всего пару раз, да и то — за руки не держались: так давно, что не верится в собственный свой возраст.

Как не мог поверить, глядя в тихую лодку гроба, что это она в нём: сейчас отправится в неизвестные пределы...

Нет, отправилась уже, оставив тот телесный состав, который, лишённый ауры движения и речи, воспринимался отстранённо, страшно и странно.

#### IV. МАРИНКА

Недалеко от дачной страны, сегментчато составленной из шестисоточных участков, их однообразно-разнообразных нарезок с нагромождением похожих домишек, непременными парниками, смородиной-крыжовником, обилием вишен, спутанных ветвями, и гордых яблонь, — стоял почти в чистом поле офицерский дом.

Поле быстро стало не особенно «чистым»: возникли гаражи, постепенно появились маленькие огороды, женщины насадили клумбы... В этом доме жила двоюродная сестра Маринка с мужем-полковником Володей и двумя детьми... Как быстро они вырастают!

...Многие ли хранят память о крошечном их, розовато-белом, чудесном детстве и обо всей этой — с купанием, плачем, прогулками, играми и необыкновенной прелестью чистоты — стране жизни...

Наташка, дочка Маринки, скуластая и красивая, Алексей, высокий, в неё же, курчавый, с ясным, открытым взглядом, скоро разлетелись, обрели свои семьи, Маринка стала обрастать внуками...

Она сама — врач ОФП, работала в пятой горбольнице Калуги; а дом их стоял на Правобережье: район, некогда бывший деревенским, но столь стремительно разрастающийся, что и Калугу уж особо провинцией не назовёшь...

«Как во Владивостоке жилось, Марин?» Долгий период — Володку отправили туда — был связан с далёким, прекрасным городом... «Да хорошо, Саш... Такая красота сопок...»

Они уезжали в тот месяц, когда умер мой отец, и Маринка, любившая всех, всем всегда стремившаяся помочь, плакала, уезжая, плакала, захлёбываясь, словно предчувствуя что-то...

Это — излом Союза, 87 год, воспоминания, залитые кислотами времён, вибрируют во мне слабо, словно отзвуки... прошлых снов.

Всё сны, ребят, вы не заметили?

Вчера мама вела меня за руку в детский сад, а уже два с половиной года, как мамы нету...

Она мне приснилась? Как снюсь я сам себе, запутавшись во снах, точно участвуя в будлаковском «Беге», где нет традиционных картин, только сны... Прозрачно-муаровые, перламутрово-серебряные...

Не правда, что воспоминания — это богатство: когда хороши они, хочется в них вернуться, коли плохи — забыть, поскольку ни то, ни другое невозможно, остаётся страдание, — данного момента, где ты снова онтологически одинок — хуже, чем посторонний Мерсо, выпотрошенный пустотой.

Маринка — дылда, занимавшаяся волейболом когда-то и ещё, кажется, лёгкой атлетикой, теперь не узнать. Дылда, истерическая нравом, очень добрая, кудлатая,

без конца (представлялось) готовившая еду: всех надо накормить! Немедленно и раблезиански; было всего много, пышно, вкусно; как-то пришли с дачи моего двоюродного брата, Алексея, он, я и Володька, с которым дружил, и Маринка тотчас стала накрывать на стол, а они отставили тарелки дружно-демонстративно — и растерялась сестра, мол, как же? «Закормила!» — дружно воскликнули, и тогда я, хоть есть не хотелось, сказал: «Я буду, Марин. Клади всё...» Радостно наваливала смачные пищевые горы...

Она мчалась ко всем — коли требовалась даже минимальная помощь; она была одержима депрессиями, она часто повторяла: «Какая тоска!» И — тут же: «Надо жить». Жить, жить, даже за гробовой чертой, не представить себя в гробу, не вообразить в этой скорбной лодке Маринку: весёлую, переполненную жизнью, хоть и с этой — кудлатой, как она, тоской.

Любила рулить. Какая у неё машина была? Не разбираюсь я в них, увы...

...Володька её — в противовес, молчалив, даже выпив поллитра, что не особенно на него влияло, не становился разговорчив.

Помнится, раз с Алексеем, братом-кавторангом, отправились к нему в часть: просто так... Древние здания, мне казалось — монастырские, КПП, с которого звонил Алексей, и вот — скрипящая лестница, обширный кабинет, и Володька — возлежащий в следующей комнате, под картой страны: отдых... Поднялся тотчас, поприветствовал, не спрашивая открыл сейф, откуда извлёк бутылку, шпроты, овощи, хлеб. Всё закутилось здорово.

«Володь, ну и потолки тут...» — «Метров пять». — «А что раньше в этих зданиях было?» Но я, помня свой вопрос, не помню ответа...

Бытовые ссоры вскипали у них с Маринкой часто: онтологическая банальность, обыденность, не имеющая обаяния; раз, оказавшись внутри такой, я чувствовал себя неудобно, да ладно, что там... Ведь добра была Маринка, ведь столько читала, всё норвила поговорить со мной о литературе, и говорили, конечно...

Ряды книг, плотно стоящие в шкафах квартиры: добротные-качественные советские издания, густота собраний сочинений. И дети читали: странность! Впрочем, росли же ещё в Союзе, хотя и застав его край, а тогда многие дети читали.

Виделись-то с Маринкой редко, одно время стали переписываться по электронной почте. А дальше — никто не мог предположить.

Ойкумена взаимно пересекающихся жизней рвётся, как старая ткань...

«Маринка в реанимации, — сказала моя старенькая мама. — Звонила перед этим, сказала: Ляль, мне так плохо никогда не было...» Не придавал значения. Маринка — сгусток воли, командирша, выберется. И — как раз наплывал мой день рожденья: упал тяжело, снежно: 29 декабря. Мелькнуло: что-то Маринка не поздравляет.

30-го звонит Алексей и спрашивает, интонация и голос ничего не выдают: «Ты сидишь?» — «Ну», — отвечаю. «Ну, сиди. Маринка умерла». Сила, которую не определить, вжала меня в диван. «Может, маме скажешь, Лёш?» — «Не-а. Сам говори». Мама на кухонном диване сидела, и я, колеблясь, перебирая варианты слов, пошёл на кухню: «Ма...» Я сказал. Она откинулась — старенькая моя мама, бормоча: «Марина... как же так... меня хоронить собиралась». Мама лежала час.

Маринке было 65. Ма пережила её на год...

Вот и всё — правда ль, Марин?

Кудлатая, высокая, порывистая, всем всегда стремившаяся помочь, Сашечкой меня называла.

Вот и всё — но я не могу думать о тебе, как о мёртвой.

## V. НУМИЗМАТИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ

...Круглый блеск, идущий от монет, пересекается с лаковым блистанием стеклянных витрин, надёжно защищающих таинственные, разной цены, от дорогущих...

— Приветствую, — говорит, заходя так, будто у него избыточно денег в жизни, Александр торговцу: лысому и крепкому, прагматичному, явно спортивного склада Андрею, сидящему за монитором и прихлёбывающему нечто из толстой кружки... Не алкоголь, а я бы выпил с ним.

— О, — встаёт, протягивая руку. — Давненько... Изложите!

Рукопожатие твёрдо и округло, как орех.

— Сейчас-сейчас...

Хотелось бы многого.

Что все монеты излучают сияние: это нет, конечно, интереснее как раз те, тусклые, старинные, убираемые в сейфы, когда торговая работа заканчивается, но откуда же взять денег на подобные экземпляры.

Александр вытаскивает из кармана бумажку, на которой выписан номер



— порядковый, каталожный номер, ориентируясь на правила лавки, чего-то серебряного... ну, допустим, монеты из австрийской серии тридцатых, с портретом маленького, растерянного в жизни, плохо выглядящего Шуберта, и, озвучив, поясняет, что именно ему нужно.

— Ага. Сейчас, это тут у меня... — Андрей выходит из-за прилавка, маленький ключик лаково поблёскивает в руке, и, отворив дверцу, достаёт экземпляр, вытащив его из планшета: — Она?

— Ага, — кругло падает слово. — Пакетик дадите?

У них такое правило в магазине: к каждой купленной монете — фирменный кармашек. Не то пакетик.

— Андрей, смотрите, — спрашивает Александр, убирая своего Шуберта, — полтинник может три тыщи сейчас тянуть?

— Какой? Это обычный с рабочим, что ли?

...Они, они, вечно служащие расхожим, разменным материалом, первые, советские, но — неплохо исполненные, иногда розовато поблескивающие, в люксовом состоянии, чаще — тёмные, как дебри грядущего.

— Ну да...

— Год? — спрашивает резко.

— Ой, забыл, а что?

— Дело в том, что 24-й год кто-то искусственно поднимает. Сам удивляюсь. Так что могут просить...

— И Гинденбурга пятёрки столько?

— Гинденбурга? Бред. Это даже если б Гитлер воскрес и лично вам принёс эту монету, всё равно — за такую цену надо психиатричку вызывать.

Александр улыбается. Оценив изящество шутки, обменивается рукопожатием с Андреем и, оглянув ещё раз соблазнами текущую витрину, покидает лавку...

Сколько раз покупал у Андрея? Куда уходят корни твоей нищей, иступлённой нумизматики, несчастный, а?

...Резной, старинный, с фронтоном, как на соборе античном, шкаф: и дерево отливает благородно-темновато, а когда шкаф закрыт, то, кажется, стёкла его — очки, через которые глядит строго, отчасти — укоризненно.

Ряды книг: плотно стоят основательные советские издания, и тёмно-зелёные литпамятники так гармонируют с почти фолиантами энциклопедии, и мальчишка лет десяти находит коробочку, стоящую перед книгами.

Жестяная коробочка, из эстонской серии, знакомая подарила, для специй, но внутри — не специи, а монетки. Маленькие они, в основном алюминиевые, соцстран, но мальчишка, замороженно высыпав, перебирает, находит одну, блеснувшую скупой, и, разглядывая, читает надпись — Гельвеция. Латиницей, конечно; и ещё одну — желтоватую, восьмигранную...

Вечером: «Пап, а что это за монеты?» Отец вертит в руках, рассматривает. «Не знаю, сынок. Давай узнавать».

Как и где узнавали? Сейчас бы — кнопки нажал в интернете, а тогда? Но отец выяснил: полфранка Швейцарии и шестипенсовик Георга 5-го... нет, 6-го — они и стали началом интереса. Впрочем, здесь скорее струны страсти, и, исполняя на них музыку ретроспекции, можно погрузиться в атмосферу советскую, когда...

Недалеко от дома в лесопарке собирался чёрный рынок, ориентированный в основном на книги, марки, монеты. Самодельные пластиковые хранилища развинчивались, если кто-то что-то покупал, монеты изымались из ячейки, и Доктор, напоминая херувима, розовощёкий нумизмат, протягивал отцу приобретение. Сын был рядом.

Рынок гоняли: и, ломая кусты, топчась снег, кидалась серо-чёрная толпа врассыпную. Менты смеялись: «Что бежите, как лоси?»

Тогда Доктор рассказал отцу про клуб: собирался раз в неделю, метро Профсоюзная, вход — из арки в подвал, и Сашка ждал отца, ведь детей не пускали, ждал, бродил, мечтая, обследовал соседние дворы.

Отец и сам увлёкся: выбегал, куртка нараспашку, шарф сбился, но из кармана извлекал пригоршню: экзотические страны, и тут же рассматривали, и произносил сынок завороченно: «Маврикий... Мадагаскар...» Цены им не было!

...Они так дешёвы, мальчик! Но — какую аурой одевались — таинственно сияющей, многонасыщенной, словно парили в неизвестном, но таком соблазнительном пространстве контуры островов, нежно перехваченные разнообразным содержанием, и плавно сияли воды... небесные воды мальчишеской мечты.

Это — уже Александр другого формата: выйдя из метро Киевская, он, ездивший отсюда тысячи раз в почти родную Калугу, где столько дорогих родственников и (заметьте, часы!) все живы, переходит на другую сторону и, двигаясь к реке, не

очень-то вбирая знакомый урбанистический пейзаж, сворачивает, чтобы оказаться у магазина «Филателия».

Филателия-то она филателия, но собираются тут торгующие многим коллекционным материалом: монетами, в том числе. Александр продаёт монеты. В магазин заходить не надо, торгаши собираются во дворике, и все с портфелями — тяжеленными, раздутыми от альбомов и кляссеров, и юноша, подходя к одному, спрашивает:

— Австро-Венгрия нужна?

— Что у тебя? — роняет с высоты роста вальяжный, морщинистый, носатый, пергамент напоминает лицо, и извлекает Александр из сумки несколько упакованных в пластиковые пакетики монет, и вертит равнодушно зубр и ас советской спекуляции.

— Сколько за пятёрку хочешь?

— Тридцать.

— Нет, двадцать пять.

— Я прошу тридцать...

— Ну я же сказал — двадцать пять!

Тон — не возразить. Однако забирает монету с любимым некогда Францем-Иосифом, стариком Прогулкиным, и идёт к другим: своеобразная парочка. Один — изящен, тонок, в речи интеллигентен, второй — низкий и коренастый, с картофельным носом и прилизанными соломенного цвета волосами. Они всегда вместе.

Если мент проходит мимо и Александр дёргается, улыбаются синхронно:

— Не бойсь. Когда ты с нами — не тронут. Что принёс? — спрашивает картофельный нос.

Изящный лениво перебрасывает листы альбома. Потом — смотрит на монеты Александра. В данный момент удаётся договориться, и, получив некоторую сумму, молодой человек идёт к метро, представляя...

...Ну что можно представлять в восемнадцать, на изломе Союза, получив деньги? Как поведёт девушку в кафе, конечно: ведь девушки стали важнее монет, а денег ему, работающему в библиотеке без намёка на перспективы, взять неоткуда. Безнадёга всегда висела дразнящим занавесом: кажется, протяни руку, отдёргнешь, да не протянуть — коли неизвестно куда.

...Было иначе: клуб нумизматов, переехавший из-под арки, собирался в церкви, давно переоборудованной, и никого, совершенно никого не смущало, что толпятся... в том числе в алтаре, никто не пользовался евангельскими ассоциациями.

...Неизвестный человек в развевающихся одеждах опрокидывает столы, и ошалевшие от такой наглости торговцы открывают поражённо рты и расставляют руки.

Или — и бич свистел в руках неизвестного?

В тот клуб пускали с восемнадцати, но отец потихоньку совал одному из дежурных зелёный, как правило, мятый трёшник, и Саша был единственным подростком среди взрослых.

Единственная дама — из старейшин: им полагалось сидеть за столами, разложив товар; остальные бродили между, останавливались группками, показывая друг другу экземпляры, меняясь, покупая; а у дамы отец рассматривал польскую новинку с Шопеном, но не купил, не купил, денег не хватило.

— А это, простите, талеры? — с отцом подходят к худому и узкому, напоминающему ветку, засунутую в костюм, старику, благожелательно глядящему из-под пушистых бровей.

— Да, да, — понимает: не специалисты.

Подросток заворожённо глядит на чёрно-серебристые бляхи: огромные, как мечта, с рыцарями, колоколами, портретами, мечами; и отец, спросивший цену — просто так, конечно, — выслушивает про сотни стоимости.

Деньги другие, часы! — сотни — это очень много, а в верхнем ряду у деда лежали по 900.

Доктор, некогда рассказавший отцу про клуб, на месте, и рядом с ним — тушистый, важный, как саксонский курфюрст, Аркаша, всегда рядом они, столы их составлены.

Слышатся приглушённые голоса:

— Ну как?

— Да взял один ангальтский талерок...

Переплетаются волокна голосов...

— Посерьёзней что-то... а в золоте?.. Нет, этот тип екатерининского рубля не тянет столько...

Плывут мечты. Отец купит нечто серебряное, юбилейное — допустим, пятимарочник ФРГ с Кантом: невыносимо изящный, с вихрящейся, остро воспроизведённой подписью, и подросток будет счастлив.

...Как-то раз отец, вернувшись с работы, переодевшись, вдруг достал из портфеля-

дипломата каталог: американский Йомен, самый примитивный, и... мальчишка тогда, вцепившись, был счастлив до захлёба, листал мелованные страницы, покрытые кружками, и сказал, что будет сидеть всю ночь, изучая; улыбнувшись, отец возразил: «Не надо. Я ж купил его...»

...Долгие потом были годы без монет: сложно-мучительное движение в потёмках жизни, ранняя смерть отца, остались с мамой вдвоём, хождение на службу в библиотеку, скучное, невозможное, вытягивающее волокна из психики, и сочинительство — упорное, иступлённое, ни к чему не приводящее: страна разлетелась, сломанная о колено истории, литература — в щепы вместе с нею...

Нечто выкружилось постепенно. Семья появилась, да, часы? Вы, смалывающие своими колёсиками все человеческие мечты и надежды, вполне подойдёте в качестве конфиденнта, жаль — читатели из вас никакие.

Мальчишка, поздний сынок, рос. И вдруг — как-то захотелось монет настолько, что не смог терпеть, выкроил денег, пошёл, потёк, мечтая, лесопарком, наполненным зимними, обводными, серебряно-игольчатыми мерцаниями; пошёл к фабрике, расположенной на Богородском валу — красно-кирпичной, с трубами-мачтами, давно ничего не производящей, наполненной торговыми сегментами, и в каждом — столько всего...

Одноклассник как-то раз сводил сюда, показал место, в детстве ведь менялись монетами иступлённо, добывали, как могли, вспыхивают картинки. Там, в недрах счастливого пространства блуждая, нашёл павильон, где были с одноклассником, и казашка, явно жена хозяина, распростёрла перед ним толстое, слоистое тело альбома, и купил — крону Виктории в траурном платке.

...Я прохожу улицами старого Лондона, смог пока ещё не взялся за дело, и кэб, пролетающий мимо, вполне отчётлив.

— Золото? Нет? — к Сашке обратились, как к эксперту.

Были — Женька, тот, кто через несколько десятилетий покажет торжище на фабрике, и ещё один парень, старше года на два, у которого оказалась монета, подозрительно похожая на екатерининский червонец. Сашка крутит, вглядываясь.

— Лёгкая больно, да?

— И я так думаю. Потом — когда кидаешь её, не звенит.

Фонтан во дворе не работает давно, и медведица с медвежатами в центре воспринимается как-то неорганично. Монета падает на пыльный асфальт, и, не издав звона, остаётся на нём, поблескивая тускло.

— Не, подделка, думаю, — решает Сашка. Болтают о чём-то...

...Пенал коридора Женькиной хрущобы: обосновавшись тут, на полу, а Женька вытащил коробку свою, высланную вельветом, меняются: Австралия на Фиджи, половинки, пятидесятицентовики, и утконос, ныряя, разводит круги... детского счастья.

Мелькающие картинки не требуют твоего участия, хотя принадлежат тебе: купившему первую свою крону — во взрослой жизни — у тётки: так и будешь мысленно называть магазин; мелькающие картинки словно живут в пространстве, и мозг, улавливая их, становится каким-то расслабленным, не зимним.

Долгое время, как-то выкраивая деньги, тая увлечение от родных, ходил туда, на фабрику, покупал монеты, потом — неожиданно для себя — переключился на Андрея: с ним интереснее, сам нумизмат; и вот, разматывая ретроспекцию не особенно удачной жизни, вновь и вновь переосмысливая нечто мутное-смутное, воспринимаемая монеты, как каналы истории и культуры, Александр думает, что нет праздника ярче нумизматики, и если бы дано было выбирать, уж непременно выбрал бы её, а не докучное, бессмысленное сочинительство, перемоловшее жизнь — на манер мясорубки.

## VI. АШУКА

Она держалась отстранённо сначала, выглядела манерно и напоминала учительницу на пенсии, но, гуляя с Катей, внучкой своей, стала оригинально играть с ней и моим Андрюшкой, года по три им было, и вот, когда накрапывал дождик, подошёл я к ним, протянул ей зонтик, улыбнулась, поблагодарила...

Действительно — несколько манерна, но — отчасти изыскана и легко выдумывает игры, нравящиеся детям; вот Андрюша подбегает к ней, кричит: «Тётя, тётя!» — собираясь что-то спросить, а Катя отвечает: «Это не тётя, это ашуска!»

Так у Андрюши получилось Ашуска...

Стали, встречаясь выходя, вместе гулять, разговаривать: то о детях, то о литературе, хотя не стал рассказывать, чем я занимаюсь, о своих публикациях молчал, как она не говорила о прошлом, кем работала...

Чётко созрело представление: учительница, есть нечто наставительное в том, как

общается с Катей, вместе — многоопытное...

— Это не Катя, — говорит о закапризничавшей девчонке. — Это Федул, губы надул...

А то так: Катя нашла палку, и Андрюша подобрал другую, Катя мчитя со своею к низкому дуглу в дереве, сует туда, палка ломается, и глядит Катя — у Андрюши палка длиннее, и — как заревёт: азартно, забавно... Все ищут ей длинную палку, но тут Андрюша повторяет Катин подвиг с дуплом, и у него становится короче. Он — в рёв... Ищем теперь ему...

О, Господи, верни меня туда! Все бури, все ненастья, все штормовые приступы депрессии отменялись тою игрой, мнившейся бесконечной, с детьми...

— Саша, приходите к нам завтра играть! — предлагает Ашука...

— Посмотрим, — улыбаюсь, ещё не представляя, куда потащит меня дитёнок, любивший разные площадки.

На третьем Катя, мы на шестом, и Ашука живёт одна, сюда приходит: тут сын и невестка, и последняя называет её, Ольгу Сергевну, мамой...

Горки закручиваются круто: Катя, светясь, съезжает, и длинные её, льняные и золотистые волосы сияют крошечным нимбом не страшного электричества...

— Ой, — восклицаю, — горка током бьётся...

— Да, я знаю, осторожно надо. Всё осторожно, — замечает Ашука, и чувствуется, хочет поднять учительственный палец.

Она жила осторожно. Катя не желает так...

...Андрюша втыкал палочки в песочницу, изображая некое строительство, и тут налетала Катя, забавно фырча, и выдувала розоватые шарики звуков: «Ветел... ветел...»

Все палочки, вывороченные из зыбкого песка, разлетались, и Ашука говорила: «Уважаемый товарищ ветер, нельзя ли перенести ваши действия куда-нибудь ещё, а то Андрюша обидится». Андрюша не обижался...

К чему мозаика воспоминаний, если плоть дней не восстановить, не счистить с себя лет сегодняшних, чтобы вернуться к счастливым...

О Боже, проведи меня в кино, где стереоскопичность изображения позволяет вернуться во двор... а из него выйти на улицу и отправиться в лесопарк, где мерцает пруд...

Ашука будет говорить, что не шибко понимает современную литературу: слишком много пустой, кислотами всё разъедающей игры, и склоняется она к классике, и, поохав немного при воспоминании о кристаллах пушкинского языка, посетует, что Катя ничего не читает. «Андрюша тоже!» — сообщишь ты (ты и я путаются в странном калейдоскопе былого). И расскажешь, сколько читал ему вслух, пробуя и литературу, опережавшую очевидно малый возраст, и какими только книгами не стремился заразить. Может, хорошо, что не получилось: литература обладает особенностью, превратившись в мясорубку, перемалывает жизнь...

Трамваи, чьи современные формы напоминают гоночные болиды, проезжают мимо; мост вибрирует под ними. Вступаете в лесопарк, густой, как лес, но и легко прозрачный, слоющийся листвой, просвеченной солнцем. Осенняя листва напоминает Византию, а летняя — рай...

Тропки все знакомы, когда-то почти порхали здесь рыжие белки, полные такого природного обаяния, что дух захватывало, и сколь приятно было нежное покалывание лапок, когда, оторвавшись от слоистого ствола, перепрыгивали на ладонь — за орешками.

Ашука помнит белок. Дети — не могут...

Поворот, спуск к воде, мерцающей бархатно-золотистой чернотой, и не умеющие плавать малыши, разувшись, будут ходить по краю, брызгаясь друг в друга, потом присядут, рассматривая не то гусеницу, не то улитку, и солнце, стекая расплавом с листвы, добавляет медовости в каждый миг.

Где ж она теперь?

...Вольт памяти или шахматный ход (только неизвестно с кем играешь: ведь ни Антония Блока, разорённого душой крестовым походом, ни персонифицированной смерти нет) перебрасывает в зиму: вот протянула она свои нити, опалово серебриющиеся везде, и, ювелирно украсив деревья, играет на свирелях и скрипках; а на коробке дворовой спортивной площадке — сумма людская, и Ашука согбенно пробует тащить Катю, плотно усевшуюся на санки...

У меня Андрей: во мне — сколько-то сорокаградусного счастья, принятого дома перед выходом, я говорю: «Ольга Сергевна, давайте я!» И захватив сонные санные верёвки, лихо влеку детей, закладывая виражи, вычерчивая геометрию веселья, и хохочут они — детюнцы, маленькие и счастливые.

Катя быстро выучилась на коньках: легко кружилась; Андрей глядел и глядел, попросили Катю одолжить на короткое время: попробовать, что получится.

Получилось: Андрюша встал и поехал, довольный, вращаясь, шлепаясь, тут же вставая. Купили скоро. Вместе катались — с Катей, Ашука же повествовала о своих фигурно-коньковых юношеских страстях...

А то — говорю:

— Умудрился мой сменную обувь потерять... Еле нашли!

— Это что! — вспоминает. — У меня раз было: портфель потеряла... Так замечталась, что остановилась, выронила и пошла дальше! Представляете?

Представляю, Ольга Сергевна.

Зима мелькнула хвостом: весна пролетела, лето жарит опять...

— Катя, — вычитывает Ашука, — нельзя под эти кусты лазить. Понимаешь? — Катя энергично кивает. Ашука держит её за лапку. — Не полезешь больше? — снова энергичный кивок. Ашука выпускает внучкову лапку, и тут же Катя, сложившись пополам, раздвигая стержни кустов, лезет под них... — Ну что с ней будешь делать! — к небу обращается Ашука...

Они растут быстро. Катя, когда отправилась в школу, практически переехала к Ашуке — ближе оттуда. Андрюша теперь гуляет один...

У лифта нашего дома встречаемся с Ольгой Сергенькой, и она, глянув на меня, чьи глаза растворены слезами, когда не выедены ими, говорит, замирая: «Саша, мне сказали... Саша... держитесь, у вас есть ради чего жить!»

Мама моя умерла. Разорвало меня: не сшиваются внутренние половины, будто единым яблоком жизни были с мамой.

Ашука догадывалась. Она говорила потом, что может помочь найти психолога, рассказывала о себе, и как-то раз, когда я пил водку во дворе, надолго погрузились с ней в размышления-воспоминания, забывшиеся потом...

Но помнится, помнится, помнится, играя и звеня, та бесконечность счастья, связанного с детьми: так быстро завершившаяся бесконечность.

## VII. ЖЕНЬКА

Проходя мимо открытой на первом этаже двери хозяйственного помещения, видишь мусорную тележку, закиданный мелочью сора пол, острые грани стен с облезшей штукатуркой: неприглядность нежилого помещения, потайного угла вообще основательного, с хорошими квартирами дома... Сколько раз, вдруг молнией мелькнёт в мозгу, проходили здесь с Женькой — одноклассником, отношения с которым стягиваются в узлы ссор-примирений, забавных довольно, если поглядеть с высоты — когда сумеешь подняться... Оттуда всё кажется пустою муравьиной суетой, и вещь жизни твоей очевидно принадлежит кому-то другому...

Детские кадры: вот в комнате хрущобы его, тесной и странно организованной, рассматриваете черепаху, какая, вытянув старушечью шею, всё норовит убежать, не представляя, что за пределами стола ждёт её гибель...

Увлекались ли тогда монетами? Едва ли — позже пришло, накрыло весь класс, стало определяющей страстью многих...

В коридорчике, столь маленьком, что троим уже на разойтись, на полу рассматриваете содержимое коробки, приспособленной Женькой под монеты, постелил на дно желтоватый поролон, и, наверно, меняетесь чем-то — Барбадос на Уругвай, Ватикан на Сингапур, не зная ещё — какие монеты бывают! Ух...

Тускло мерцает старинное серебро...

Ты уже сочинительствуешь, вписывая в школьные тетрадки рассказы, сопоставляя их с теми, что читаешь в книгах, унывая, а к нему увлечение музыкой придёт позже, к старшим классам ближе, но тогда, в силу слишком серьёзного пубертатного криза, ты не ходил в школу: было индивидуальное посещение...

Мазки отношений сохранялись, Женька увлёкся музыкой всерьёз. Брат закончил музыкальное училище, играл в ресторане, строил планы... пока к тридцати, разочаровавшись во всём и в себе, не заснул своеобразно, застыл в безразличии ко всему... тем не менее, что-то объяснял младшему, давал своеобразные уроки, и тот, заболевши музыкой, брал у меня пластинки с классической, добывал редкие записи, проторив тропу на Горбушку, которой больше нет...

Всегда странноватый был: учился так себе, лёгкий, весь какой-то необязательный, что ли, играл в пинг-понг, гонял в хоккей, школой не интересовался совершенно и, не чая поступить в музыкальное учебное заведение — стал сочинять мелодии...

Хитрый, всегда чем-то спекулировал, вечно искал выгоду — помогло устроиться в постсоветском раздразе, нигде не работая формально, даже трудовой книжки нет.

Да — он какое-то время проучился в Бауманском, брал академки, потом ещё где-то пытался учиться...

Разменялся, разъехался с родителями, всегда мечтал жить один, и, не видевшиеся

с ним десяток или более лет, встретились во дворе, когда я гулял с тогдашней своей собакой — милым моим, золотистым пуделем, которого нет так давно, что будто и не было, приснился, как драгоценные потерянные родные...

— Ты? — воскликнул я, не зная, что живёт теперь в соседнем доме.

— Что — своих не узнаёшь? — хохотнул.

Болтлив и смешлив, смешливость эта раздражает многих, как ленты речи, текущей всегда, ощущение создаётся — сам себя запутывает в словах...

Предложил пройтись... Отведя пёсика, я, не зная, чем занять вечер, пошёл с ним, бродили дворами, и он, рассказав, что издал диск музыки за свой счёт, всё ныл — никому ничего не нужно, никаких новых идей нет... Потом зашёл на полчаса к нему: половину стены однушки занимали стеллажи, забытые дисками: с фильмами, записями...

Стали перезваниваться иногда, встречаться, гулять — то на ВДНХ, которая рядом, то — чередой дворов, всегда столь интересных...

Одинок. Ни с кем отношения не сложились. Занимался риэлтерством вполне успешно, но это — больше эпизоды, чем постоянство работы, впрочем, всегдашняя хитрость и склонность к спекуляции выручала...

Ах да, я печатался тогда уже, довольно много, ходил на службу в библиотеку...

Он как-то сказал, что пишет стихи. Я ужаснулся — никогда ничего не читал и, вызываемый колоритным школьным словесником прочесть стихи вслух, пугался в словах, выдавая иногда такие перлы... Помнится, возгласил из Некрасова: «И нет ли трещи ны где, щели... и нет ли голо й где земли!» — и Земцов, словесник, аж на стуле развернулся: мол, ты на какой язык перешёл?

Ужасны были его стихи: жалкие, неумелые попытки, не владея техникой, втиснуть в кургузые строчки нечто своё, сокровенное... Ни к чему не приводящие попытки.

— А мне моё графоманство нравится! — заявлял, коверкая слово, как мог писать: «фантан», «кинтавр»...

...Рассказывая ему про определённый американский фильм, сказал, что один мой знакомый, давно занимающийся парапсихологией, истолковывает суть его так: неудовлетворённые амбиции приводят к сумасшествию! «Значит, у меня всё впереди!» — воскликнул Женька, разливая на своей маленькой кухоньке сок...

Потом — надолго увлёкся коллекционированием моделей автомобилей...

Как началось? Шли зимним вечером, снежок мёл, играя, дополнительные беломеховые одежды давая кустам, и киоск, медово светившийся в темноте, привлёк внимание: в частности, выставленными моделями. Женька просунулся в него, попросил показать жучок-фольксваген, но тогда не купил. Через неделю прислал по электронке массу ссылок на машины, которые собирался приобретать, потащил меня в торговый центр, где на первом этаже сиял специальный магазин: лаково блестят модели.

Всегда дотошен, всё стремится изучить по избранной теме — всё досконально. Стал коллекционировать. До этого два года скачивал джаз: весь, что находил в интернете.

Я люблю всякие штуки: в этом схожи, и, стремясь показать мне каждую новинку, не зря рассчитывал получить благодарного зрителя...

Всё собирался остановиться, и я, тогда ещё не начав покупать монеты, шутил: «Ага, бросишь ты... Будешь стучать костылём и шамкать — сейчас, мол, триста сорок вторую возьму, и — шабаш!»

Нет, остановился он: стал делать модели сам: сперва автомобилей, потом, вспомнив свою школьную шахматную страсть, даже разряд какой-то был, стал собирать из крантиков всевозможных, пружинок и труб шахматные наборы...

Доски выдумывал: находил слесарей, сварщиков, долго, нудно и подробно рассказывал про свои взаимоотношения с пролетариями, вовлекал в тяготию своеобразной речи.

Параллельно — покупал настольные медали с композиторами, а я стал приобретать монеты: показывали друг другу...

Чувство соперничества досадой прокалывало отношения, и когда он, по телефону болтали, брякнул нечто нелепое (с моей точки зрения), я вспыхнул... Закончилось тем, что Женька ляпнул: «Белкин в сто раз больше тебя руками умеет!»

Как возникло имя одноклассника Белкина? Не вспомнить — но он: человек-сундук, косное воплощение мешанства, нелпохо устроенный в жизни торговец, вовсе лишённый всякого творческого начала, с ним же Женька дружил в школе... «Вот и общайся с Белкиным!» — подумалось мне, когда отвечал на письмо электронное Женьки, где он, натужно пробуя шутить, грозился развивать меня в плане ручных умений.

Мания величия у меня не выветрилась тогда ещё: ведь много печатали, а чем занимался он? Посмеиваясь, отношения прервал, на письма не отвечал, по телефону ляпал: «Я занят...» Я действительно был очень занят: у нас родился сын, и, поскольку

жена большую часть жизни проводила в офисе, был на мне мальшок; я много писал, да и публикации, их организация требовали времени...

Всё сложилось — в том числе нелепостью.

Через какое-то время отношения с Поляковым возникли вновь: даже ходили гулять: я с мальчишкой в коляске, он за компанию... Снова — словесные извержения: долгие и нудные, косвенные жалобы, что никто его не понимает, да и... идей никаких нет! «Какие идеи имеешь в виду, Жень?»

...У меня всё шло, как шло, сын рос, писания мои публиковали, а он заполнял тесную свою однушку бесконечными моделями: всё из металла: сколопендры, сороконожки, паровоз, сооружённый из труб... Задрав нос, говорил: «Я на века делаю!» Мания величия всегда прочитывалась в нём — бесконечно творческом, без конца что-то придумывавшем...

Снова ссорились по пустякам, вновь сходились...

Представлялось иногда: ночью, воплощая кошмар, задвигалась вся его масса железная, зашевелилась, слетела, свалилась с полок и, норовя удушить его, изобразила такое кино, которое и любимому Женькиному Хичкоку не снилось.

Он не стал композитором, хотя и написал сколько-то мелодий. Он издал книжку своих никому не нужных стихов в одном экземпляре и, подходя к шестидесяти, как я, всё говорит об организации выставки своего искусства, всё говорит, говорит: незлобивый, в общем независтливый, одинокий, жизнерадостный, будто жизнь вечная, сооружающий новую бабочку — из листового металла.

Которая никогда не взлетит.

...поскольку в параллельной реальности двое мальчишек — один высокий и патлатый, второй толстый и очкастый, склонившись над коробкой с монетами, обсуждают, пойдёт ли в обмен Фиджи на Нигерию, а на подоконнике фрагментом фантастической красоты белеют лепестки яблони, разросшейся выше убогой, некрасивой хрущобы...

## VIII. ВАЛВАС И ГРИПЕТ

Грипет и Валвас... Или — Валвас и Грипет. Они теперь — на одном кладбище, и хоть надгробной плиты Валентины Васильевны я не видел, думаю, она похожа на ту, которая установлена Григорию Петровичу — вполне обеспеченная дочь едва ли бы сделала плохо...

Вот она — рыженькая, тонко-стремительная, узко-деловая — на похоронах матери, в каменном мешке двора морга, разговаривает с похоронным агентом, потом подходит ко мне, спрашивает сигарету, не знал, что курит...

— У меня дешёвые, Лен. Будешь такие?

— Мне всё равно. Хочется просто...

Вспоминается: чахлой росла, болезненной, и Валентина (про себя, конечно, именовал сокращённо) рассказывала: «В магазин, Саш, пошли. Ну, накупили всего, стоим у кассы, и я говорю доченьке: «Гусёнок, ты...» Чувствую, как надувается, как мрачная энергия исходит от неё: «Я не гусёнок!» — «Извини, говорю, Леночка...»

Представил — расколом молнии — как, вернувшись домой после похорон, деловая и денежная Елена, рыдая, уткнувшись в материн халат, вспоминает... этого маленького гусёнка, ничего не знающего о жизни и деньгах.

Валентина Васильевна заведовала читальным залом в библиотеке вуза, в котором работал я долго-долго, бесконечные тридцать лет, маясь от несчастливой судьбы литературной капли, печатаясь постоянно, ничего от этого не получая...

Валентина лучилась безднами оптимизма: и хороший восторг могло вызвать всё — замечательная книга, умное кино, погожий денёк, вечеринка, которую устраивали сослуживцы...

Она не знала депрессий, хоть и шутила: «Смертельных болезней у меня три. А так по мелочи — много чего наберётся...»

Слышал, как говорит сотруднице, попавшей в узел сложной ситуации: «Запомни, ничего непоправимого, кроме смерти, нет».

Я был пессимистом. А Грипет был мужем Валентины Васильевны, последние годы называла его — папеч... Домашнее, тёплое... Смеялась: «Папеч звонит: я тут костей нажарил... Каких, говорю, костей? Да в холодильнике оставались...» И подхватывал я: «Ага: нажарил костей, наварил воды...»

А то вдруг рассказывает: «Саш, готовлю вчера селёдку под шубой. Разложила всё, собралась, всё подготовила так тщательно, раскладываю слоями, неторопливо, думаю, папца с Леночкой порадовать. Всё сделала, майонезом полила, тёртым яйцом посыпала, папцу — а селёдка рядом на тарелке лежит...» Серебрился смех.

Долгое время мы сидели в закутке, у окна, как бы внутри стеллажей: старых,

железных, советских, прогнувшихся под тяжестью книг — по экономике и финансам, скучных, пустых... Стол у окна, два стула по бокам, из окна — виден детский сад, и вываливающая детвора не вызывает у меня радости.

— Опять впал в мрачную задумчивость, старичок? — спрашивает. Киваю.

Выдача книг у меня закончилась, и, достав листок, записываю стишок. Она интересовалась моими «перлами»; литературу обожала, читала всё и, следя за новинками, недоумевала после распада Союза, как можно представлять литературой то, что ею не является.

— Саш, купила, поддалась на рекламу, Сорокина, попробовала читать. Разве это можно читать? Ты пробовал?

— Конечно. Банальность литературного хулиганства. Пустой имитатор чужих голосов. Дрозд-пересмешник.

— Но... как тянут его! Чуть ли не великим писателем представляют!

— Да, бывшее подполье вылезло, с криками: «Нас не печатали в Союзе! Нам надо воздать». А при ближайшем рассмотрении — правильно делали, что не печатали...

А Грипет — Григорий Петрович — был её мужем. Из простых — хотя я не знаю детально его судьбы и не вспомню точно, когда увидел впервые, фон был, конечно, алкогольный; Грипет работал с какой-то техникой, был её наладчиком: я так же далёк от неё, как от экономических трактатов, среди которых просидел 30 лет, и в девяностые Грипет стал зарабатывать хорошо.

Леночка растили. Надо, чтобы всё у неё было...

Валентина приехала из Екатеринбурга, там оставались — сестра, отец, маму рано потеряла. Отец был... по партийной части: тугая спелость жизни подразумевалась; равно и то, что, будучи уже в изрядном возрасте, просто не понимал, как строится нынешняя жизнь, на каких нитях держится.

Валентина, приехав в Москву, легко поступила в институт культуры, закончила с медалью, работала в разных библиотеках, пока не осела в этой. Вуз в конце восьмидесятых, когда я появился здесь, в библиотеке, был захиревшим, но слом Союза, подразумевающий денежный избыток, дал ему возможность подняться, цепляясь за угольно-чёрные выступления всяких рейтингов: ведь учили... деньгам и всем, что с ними связано. Академия. Потом университет. Само начальство не могло определиться с пышностью названия...

Длились дни. Для меня ничего не менялось. А у Валентины Ленка подросла, оказалась студенткой этого вуза, чуть не на втором курсе выскочила замуж, но быстро развелась.

Слоятся картинки, иные мерцают янтарно, другие отливают розовато звенящим снегом.

Едем — за рулём Ленка, а едем в дом, где живёт собачка, но хотят отдать её; маленький пудель, тоже не купленный, а взятый, в силу обстоятельности, у кого-то — не вписался в жизнь с тремя кошками. Едем. Постногодняя метель метёт...

Дом оказался тёплым, шумным, несколько беспорядочным, дети, кошки и толстая, говорливая хозяйка, за массивными ногами которой прячется — маленький, золотистый зверёк...

— Кормить его просто: каши гречневой с мясом намешать, и он ест...

— Ой, — восклицает почти счастливо Валентина, — я сама кошатница, у меня кошки всю жизнь. Сиамские, правда, только.

— У нас разные.

Лаврик, слегка тятнувший меня сначала, потом пошёл охотно на руки, и вёз я его, обнимая; и так согревал он нашу жизнь следующие одиннадцать лет: тёплый, мохеровый, большеглазый, славный, забавный.

Кошки Валентины — отдельная статья: таинственные сиамцы...

— Диночка, Саш, очень любила на окне сидеть. Прямо на подоконнике. И — раз гляжу, нет, ужас охватил, представляешь? И тут соседка в дверь звонит, снизу, спрашивает: «Не ваша кошечка мимо моего окна пролетела?» Я — бежать на улицу, Динка сидит, где приземлилась, глядит удивлённо. Три раза падала — и ничего.

Над гробом матери Лена сказала: «О кошках своих не беспокойся, ма, себе возьми».

Две последние годы жили, а как звали? Забыл... Но рассказывала Валентина, как одна стоит у батареи, тянется к окну, а другая с размаху подшибает её резко и глядит потом победно: мол, каково?

Валентине позвонили: не было мобильных тогда, и, поговорив, телефон в соседней комнате стоял, вернулась, плача: «Папа умер...» Слова утешения? Пустота.

Она собиралась тогда, уходила с работы в сердцеvine дня...

Я пережил смерть отца в раннем возрасте относительно легко, хоть и был он вселенной, а смерть мамы пережить не могу...



Грипет — по сравнению с Валвас — был маленький, очень подвижный, лысоватый и, страстно любивший выпить, как я, увы, знающий гипнотическую силу алкоголя.

На кухне у них всё было так аккуратно, даже прянично, Валентина накрывала стол, и маслилась, истекая слезой сёмга, и селедка, спрятанная под шубой, обещала закусочный смак.

— Папеч мой вчера «Восемь с половиной» впервые посмотрел, — говорит Валентина. — Ну и как, Гриш?

— Заворожён просто, знаешь, Саш. Стыдно, наверно, в моём возрасте не знать...

Я улыбаюсь, киваю, говорю, слегка опьянев, какие-то слова...

...Цветной — чёрно-белый фильм: вы не замечали? Он соткан из различных цветов, в том числе — музыки; он льётся грустным бурлеском человеческой жизни, в том числе — нашей, он переливается пёстрыми перьями огня и дышит мускульной силой мастерства, он собирает такие пёстрые поляны людей, что хочется затеряться среди них.

Одна из кошек прыгает мне на колени, мурчит мило.

— А где вторая? — спрашиваю.

— Под диваном сидит. Гостей боится, — разводит руками Грипет.

От них шло тепло — от Валентины и Григория Петровича: классические советские интеллигенты: лучшее, может быть, чем полнилось когдатощнее время.

Потом Грипет заболел: проблемы с сердцем. Валентина дневала и ночевала в больнице. Ему делали операцию — коронарное шунтирование уже на уровне названия прокалывает сознание резкой болью; но тогда — всё обошлось; разумеется, об «выпить» уже речь не шла...

Валентина вернулась на работу: осуществлять общее руководство, как говорила, наигранной патетикой представляя шутку.

...Меня раздражала эта мелочь службы: мелочь, так издевательски наслаивающаяся на мечты о писательской карьере. Валентина говорила:

— Ничего, Саш, у всех настоящих писателей судьбы при жизни не слишком лакированные...

— Да не у всех, — отвечал я, монотонно глядя в окно.

Шутили над смертью. Валентина много шутила: на разных уровнях.

— Так, — могла сказать. — Я издала царский рескрипт: завтра закрывает зал Анька...

И Анька шумно протестует — никому неохота выходить в вечернюю смену...

...Мы встречаемся с Анькой в метро: и витражи «Новослободской» сияют замечательно, паря красотой. У меня букет, но Анька почему-то не купила цветы; мы выходим, и бессмысленно говорю о детских своих местах, мельком оглядываясь на огромный, как средневековая крепость, дом, некогда набитый коммуналками, где прожил я первые десять лет — с молодыми мамой и папой, где над кроватью моей висела пёстрая карта мира, и мне казалось, что страны должны ночью осыпаться, как пёстрые листья осени.

Там дышало счастье.

Зачем-то рассказываю Аньке, что из морга ближней больницы хоронил отца, потом замолкаю. Мы идём хоронить Валвас; Грипет умер двумя годами раньше.

...Ольга — весёлая такая сотрудница, дружившая с Валентиной с юности, позвонила полгода назад, сказала:

— Саш, у Валентины рак...

Ошалел. Такая жизнерадостность и онтология оптимизма исключали, казалось бы, чёрный поворот. Позвонил Валентине:

— Как вы?

— Ещё жива, старичок. Но нездорова — у меня рак.

Что тут скажешь? Говорил нечто, вытаскивая слова из груды возможных, и все они были бессмысленны.

Мы идём с Анькой переулками, огибаем огромную звезду Театра армии; вот и Олька — с заплаканными глазами, вся скорбно-чёрная. Мало людей. Каменный мешок двора: напоминающий тюремный, куда выводят гулять заключённых.

Помните, Валентина Васильевна, как обсуждали любимого Ван Гога?

Мало людей, жара, лето; долгий путь на подмосковное кладбище, где сосны стремительно рвутся в лепную, сияющую синь, где пути между могил узкие, и уже похоронен Грипет. Портрет на надгробии точно передаёт внешность: так и выглядел...

А в лодку гроба с восковой куклой не хочется смотреть.

На поминки не пошёл. Дома помянули с мамой моей, никогда не видевшей Валентины, столько слышавшей о ней, купившей мне тот букет, с которым и отправился провожать её...

...Надеюсь, что встретишься с Грипетом.

Она ушла на пенсию за десять лет до смерти: и счастливо их прожила, изрядно зарабатывающая дочь помогала деньгами, могли путешествовать...

Книги. Фильмы. Избыточная радость бытия: таковая и должна быть вектором.

Но — так хочется надеяться на посмертные встречи: не то совсем затянет мёртвая бессмыслица...

...Вот я, книжный мальчишка, маменькин сынок, переживший тяжелейший пубертатный криз, из которого вытаскивали психиатры, с криво с той точки пошедшей жизнью — я: устроенный на работу в библиотеку вуза...

Идёт 1986 год: грядущего слома с последующим разносом всего никто не представляет. И я не вписываюсь в молодёжную компанию, работающую тут: не поступают на дневной, идут на вечерний, год работают, переводятся потом.

Мне тошно и одиноко, сижу я ещё на абонементе, и, скучая на выдаче, читаю Диккенса. Проходит Валентина, чуть трогает книгу, смотрит, что читаю. «Надо ж! — удивляется. — Кто же теперь Диккенсом интересуется?..» Ещё не забрала меня к себе в читальный зал, властная и мягкая одновременно, ещё не подружилась с нею...

Миг мелькнул — жизнь прошла: кто так устроил? Кого благодарить за миг?

...Но хочется вообразить мне — сияющий, почти бесконечный, переливающийся многими красками небесный цветок, которого нет на земле: и в ласковой сердцевине его — Грипет и Валвас: сияющие, преображённые смертью, встретившиеся: классические советские интеллигенты, от которых исходило драгоценное тепло, несущее в себе частичку Божественного сияния.

## IX. КЛИМОВСКИЙ

Тогда — на дне его рождения, впервые у него дома — не представлял, что видишь его в последний раз... Впрочем, оборот отчасти нелепый — про большинство людей, с кем сводила жизнь, как и про родных, которые порою были важнее себя самого, не знаешь, что этот раз — последний...

Климовский был коллегой отца, физиком, они писали работы вместе — там давно, в недрах Советского Союза; и Климовский утверждал, что был одним из первых, кто занялся изучением экстрасенсорики: полуподпольно, конечно.

...Как это?

Вдруг внутри тебя открываются, зажигаются пластами огней неведомые поля, и, поражённый сначала, беспокоясь о состоянии собственного рассудка, постепенно втягиваешься, понимая, что жизнь бесконечна, протянута во все стороны, и знания о ней очень условны.

Помню Климовского над гробом отца, умершего рано, как рана прорезала мою душу серьёзно; Климовского, высокого и лобастого, успокаивающего бесплодно плачущую маму: «Все перед ушедшими виноваты...»

Метафизическая вина переливается золотистой жидкостью в неразбитом сосуде тела.

На дне рождения его был — 15 лет спустя после смерти папы, общались до того несколько раз у нас дома; мама, конечно, накрывала стол — щедро и хлебосольно, и хоть чувствовал, что общение идёт странно, причудливо, непонятно, порвать его нити совсем не решался ещё...

И вот — позвонил, пригласил на шестидесятилетие. Он жил один: дочь взрослая, с женой разошёлся. Ехать было долго, и район я не знал; январский снег пушил за окнами автобуса, и пёстрой чернотой мелькали незнакомые московские фрагменты; а когда вышел — погрузился в мир сияющих огнями многоэтажек, люди в которых кажутся такими безликими: не оправдано кажутся, вероятно...

Шёл, топчя хрусткий снег; потом понял — сам не ориентируюсь, стал спрашивать встречных...

Из-за двери нёсся лай. Климовский открыл, одновременно говоря:

— Мотя, тихо... — толстая, старая такса, замолчав, посмотрела на меня вопросительно. — Мотя, Саш. Матильда — по паспорту...

На кухне вытаскивал из сумки мамины дары: банку квашеной капусты, самодельный куриный рулет, варенье... В единственной комнате, одну из стен которой занимал плотно заставленный стеллаж, стол был накрыт вполне аппетитно: и шпроты, и колбаса, и селедка, и соленья подразумевали расчёт на достаточное время отдохновения.

Климовский знакомил с приходящими: двое из них оказались бывшими коллегами отца и, взглядываясь в меня, после какого-то времени разговоров, сказали, как некогда Климовский: «Надо ж, никогда не думали, что ещё раз Льва на этом свете увидим».

Очерки жестов? Схожая манера речи? Отцовский код хранит судьба моя...

О нет, серьёзных разговоров тогда не выходило, пестро плелись речи по большей

части ни о чём, но застолье и не подразумевает интеллектуального напряжения; и, отправляясь на кухню курить со старичком (вспомнить бы, кем доводился Климовскому), обсуждали историю тяжёлой атлетики, занятия которой так увлекали меня в юности...

Но в жизни я видел Ваню в последний раз, не подозревая об этом.

За два года до того, пьянствуя одиноко, проходя ступени счастливого опьянения и мрачного самопогружения, позвонил ему, найдя телефон в записной книжке мамы: позвонил и, пьяно дыша в трубку, стал повествовать о себе, о сложно скрученной слишком тугим гнездом жизни поэта, о путанице моего пути — с верой и безверием, с полюсами провалов и взлётов, и предложил, если ему интересно, встретиться. Созвонились, когда протрезвел, договорились, и он приехал.

Стол накрыт. Климовский несколько неожиданно вписан в жизнь, которая кажется не слишком удачной; он не отказывается от выпивки, и я, не представляя, как строить разговор, сосредотачиваюсь на ней, пока он обсуждает с мамой какого-то давнишнего знакомого.

...Как-то всё переходит на духовное зрение, которое якобы открыто у монахов; Климовский, рассказывая, как он погибал, разлетаясь духовно на капли чёрной субстанции, рассказал, как жил в монастыре, как соприкасался с людьми, пребывающими сразу на нескольких уровнях.

Они видят, какие клубки змей — тщеславие, честолюбие — насколько противостоят божественному в человеке, основному.

Постепенно выясняется — Ваня считает себя церковным человеком, а что экстрасенсорика осуждается церковью, я тогда не знал; выясняется, что он очень спокойно говорит про отсутствие смерти; я острою, конечно: «Тогда... позвоните отцу, пусть примет участие в застолье...»

Он рассказывает, как можно оценить книгу, взяв её в руки: от каждой, мол, идёт определённое излучение, и руки экстрасенса ощущают его.

О себе рассказывает скупко: мазки ложатся: продолжает работать в научном институте, несмотря на крошечные деньги, плюс — исследования запредельного... Какие? Я не понял...

...Разметало нас резко — он утверждал, что мы рабы Божьи, и это прекрасно, но вся суть моя бунтовала против этого чудовищного слова — раб... Чей бы ни был.

— Я должен убедить его, Ляль, — говорил потом по телефону маме Климовский. — Я должен доказать ему.

Господи! Неужели это так важно, Ваня?

Он был потом у нас ещё несколько раз. Постепенно проступало в его речах: я гибну, потому что не слушаю его...

Он привёл пример: пьяный мужик чешет на тронувшуюся ледоколом реку, его останавливают, но он прёт и прёт, упорен и, оставшись жив, еле выбравшись, говорит: надо ж было морду набить! Он утверждал, что я нахожусь в роли этого пьяного мужика.

Почему, Вань?

...Глаза его странно мерцали — прозрачно, глубоко, он был высок, крепкотел, утверждал, что человек не должен больше семидесяти жить. Он раздражал, и нечто влекло в нём: будто и впрямь обладал знанием, какое не передать.

Когда я поздравлял его с днём рождения через год после пьяной встречи в его квартире, он, оборвав поздравления, сказал о важном, как ему казалось: «Я хочу помочь тебе человеком стать!» Меня взорвало, хоть я и не ответил ему; предпочитая письменную речь, написал письмо — резкое: но он всегда был невозмутим, невозможным казалось его обидеть, вывести из себя. А я взрывался часто.

Больше не виделись никогда, не перезванивались, и, найдя со временем контраргументы против всех его речений, включая любование и наслаждение рабством, я внутренне долго дискутировал с ним.

Потом появилось серебрящееся ощущение его смерти.

Но... всё казалось, встретимся ещё, всё казалось... Потом умерла мама, и, очутившись в крошечной, стал искать его телефоны в записных книжках, информацию в интернете. Не нашёл.

Он очевидно не хотел ничего плохого — по отношению ко мне.

Обрёл ли правду запредельного знания, истину сияющего посмертья?

Не узнать — как не узнаешь ни про кого.

## Х. СКВОЗНОЕ ОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ОДИНОЧЕСТВО

Двор раскрывается, мерцающая таинственно шаровидными фонарями...

Или так — фонари: шаровые узлы перспективы — высветляют осенние потёмки двора с узорами и орнаментами нападавшей пока не слишком обильно сентябрьской

листвы, с рисунком детской площадки, скромной довольно, редко на ней гуляют с детьми, больше взрослые сидят на скамейках, дую пиво; с котельными, на стенах чьих устроились плоскостно: бледная берёзовая роща и морское побережье со ступенчатым замком.

Двор раскрывается во второй день сентября, когда дети пошли в школу, поскольку первое тяжело упало на воскресенье, и уже Миша Розенцвейг сумеречно-вечерне укоренился на скамейке возле подъезда, а сын его с женою вывезли коляску с недавно появившимся внуком...

Миша крепок, невысок, тщательно укоренён в жизни: продюсером был последние годы, до этого... менялись профессии, и поездить довелось; помнится, раз я, глядящий на фонари, как на узлы перспективы, будучи поддатым, разговорился с ним... а осталось в памяти только еврейское кладбище в Праге: где плоские глыбы плит несли вихреватые речения вечной ветхозаветности и изображения овец и рыб...

Из глубин...

Они болтают о чём-то втроём: Миша, сын его, имени которого я не знаю, жена его, а младенец спит тихо, пребывая пока в своих измерениях: механизм памяти ещё не работает, поскольку необходимо стереть предсуществование, чтобы запустить оный...

Если бы вышел Коля, он тотчас бы присоединился к Мише, закурил свою безникотиновую трубку и включился в разговор, вращающийся вокруг разных стержней: политика, техника, быт, разнообразие жизни, организующее отсутствие пустоты, которая всё равно заполняет сознание — как мы заполняем её вещами, какие считаем важными, хотя, кроме загадки смерти, ничего важного нет на свете...

Коля высок и до пятидесяти был предельно жизнерадостен, потом всё покатило под горку, и тело начинает скрипеть, и память пробуксовывать, и жизнерадостность стирается, как ластик.

Или — метафизическим ластиком некто стирает предшествующие надписи на бумаге бытия...

Коля рано, до тридцати, похоронил родителей. Вспыхивает кадр моей памяти: у отца моего, умершего ещё в СССР, сердечный приступ: папа, белея телом в темноте комнаты, растирает грудь, и я, вторгаясь ночным звонком в Колину квартиру, спрашиваю у мамы его, лица которой не восстановить, нитроглицерин... Охает она, проходим с нею длинным коридором, тускло играющим отблесками предметов коридором, вытряхивает из стеклянной колбочки маленькие таблетки...

Отслоение: отца увезли в ту же ночь, и больше я его не видел. Живым.

Отец Коли вспоминается стёрто: осторожно ступая, вероятно, болен, пересекает двор; рано похоронив их, вовремя сепарировавшийся, самостоятельный, какое-то время жил с бабушкой — с маминной стороны, властной и крупной, всегда и во всём чувствовавшей себя хозяйкой, потом и она ушла, оставив Коле дополнительную квартиру, чем избавила от забот в перенапряжённом нелепостью мире, впоследствии развалившемся СССР...

Коля учился в Финансовой академии, какое-то время работал в банках, пробовал открыть автомобильный ломбард да бросил всё, стал просто жить, благо есть на что... Вторая девчонка появилась от гораздо более молодой жены — вот она поздно возвращается с работы, длинно золотистые волосы мерцают, улыбка расцветает водным бликом — а дочка родилась в Колины 45; с первой женой связь условна, а дочка первая — взрослая уже, но контакта нет, оборванные провода, с которых срываются редкие искры телефонных звонков. Зато с задорной, очень миленькой Катюшкой гоняет всюду: когда пересекаемся, вздыхает наигранно: «Ох, замучила совсем...» А то сидят на скамеечке у подъезда, едят мороженое, Катюшка болтает ногами, и, поедая сладкую, холодную плоть, они умудряются толкаться весело. Самокат стоит рядом...

Итак, если бы Коля появился в конкретике вечера второго сентября, то подсел бы моментально к Мише Розенцвейгу, стал бы болтать о том, о сём, другие бы включились: жена Коли, возвращающаяся с работы, Мишин сын, ещё кто-то...

Дом изнутри перетянут мистическими узлами, нити эти, хранящие, как ДНК, массу информации, не расшифровать.

...Галя, Галина Иванна спросила — в недрах прошлого года:

— Саш, зайдёшь на пару минут?

Возвращался, помахивая пакетом с батоном.

— Пошли, Галь...

Мы поднимались на наш шестой, старожилы, и, оказавшись в коридоре её, подивился обилию коробок, заполненных разным скарбом. А Галя шла ко мне из комнаты с сияющей, очевидно дорогой тарелкой.

— Вот, Саш. Квартиру я продала, — охнул внутренне. — Уезжаю к своим, тяжело одной. Ольга любила посуду, вот возьми на память...

Ольга — мама, которой...

Впрочем, не буду о той яме, в которую меня превратила мамина смерть. Не буду — хотя прокалывает память на миг: возвращаюсь из магазина, подхожу к дому, вижу на скамейке маму и Галю и чувствую... всё ещё хорошо.

Нить дрожит.

Галя похоронила сына: вальяжного, толстого, глаза навывкате, Лёньку, такого... замедленно-плавного жизнелюба...

Одномоментно.

Мама сказала:

— Странные цветы какие-то в квартиру Гали несли. Надо узнать.

— Узнай, — ответил, не придав значения.

На другой день:

— Саш, Лёня умер...

Облако, окутывающее каждого незримо, исчезает рано или поздно, прорехи начинают зиять со страшно обугленными краями; вспоминается, как когда-то курили на лестничной площадке, и Лёня сказал: «Поздравляю!» — имея в виду рождение моего малыша. Сейчас быстро всё полетит. Я тоже думал долго...

Промелькнуло одиннадцать лет. О Гале, уехавшей к невестке и внучке, не узнать ничего, телефонами не обменивались, возраст у неё — мамин, то есть серьёзный...

Впрочем, вечер второго сентября длится, и, промелькнув, Колина жена зашла в подъезд, растворившись в его световой бездне, а Розенцвейги ещё будут сидеть сколько-то...

Логика, проходящая мимо в аристотелевском наряде, опровергается янтарными волнами фонарей и надписями листовки на асфальте, которые не прочитать...

Думалось тревожно: кто въедет в Галину квартиру? Молодая семья, оказалось: невысокие родители и девчущка; семья, особенно не претендующая на какое-то общение; в доме, терпеливо сносящим всякую людскую начинку, общаются избранно: эти с теми, те с этими...

Если скамейка занята, то Ване, возвращающемуся с работы, негде попить пива... Впрочем, вариант найдётся — пойти на другую скамейку... Он круглый, с темным лицом, одинокий, готовый помочь, если обратятся; он остался вдвоём с отцом, после того как Ирка, мать, умерла в прошлом году, вот она-то всех знала... С коляской стояла у подъезда, словно докладывала очередной тётушке: «Плохо ест. Два печенькица и молочко — разве еда для мальчишки?» Она говорила только о быте, о еде, о машине, даче, этим жила, возвращались из магазина много позже, когда дети выросли, с такими полными сумками! — еда распирала их, будто возмущалась сумочной, тканевой несвободой.

У них есть ещё Катька: кругленькая то ж, как Ваня, но — вышла замуж, уехала, а когда навещает своих, выводит гулять маленькую собачку — скандального терьерчика...

Ирка, знавшая всё про всех, ухнула в бездну так неожиданно; Андрей, её муж, технар, иногда сидит на этой же скамейке: лысоват, усат, со всеми здороваётся, особенно не припадая ни к какому общению...

...Пока Коля возится с рыбами: заходил к нему иногда специально глянуть на аквариум.

— Дед когда-то подсадил, — рассказывал Колька.

Дед, председатель ТПП СССР, вероятно, играл в его жизни серьёзную роль. Теперь аквариум велик, внутри темнеют изогнутые коряги, и песок кажется неестественно-синеватым от работающих ламп, а рыбы экзотические: большие, с ладонь каждая, крапчатые, отливающие жемчужно...

— Гляди, гляди, — восхищается сосед, — думает, спряталась, а её отовсюду видно.

— Ага.

У них, что ли, у каждый свой характер?

Проплывают плавные рыбы-мысли, ожидают корма... хоть впечатлениями.

Мне трамваи напоминают порой аквариумы на колёсах, и чем люди, сокрытые в них, отличаются от медленно плавающих, за какими наблюдает кто-то?

А в Катькиной комнате, в клеточном дворце живёт шиншилла: серый Шушик, Катя выносила показывать, я хотел потрогать, но цапнула меня так забавно, усами вибрируя...

Что вам ещё рассказать, фонари?

Про сквозное онтологическое одиночество всех.

Да вы ведь и сами всё знаете...

Остаётся сплошная янтарная грусть, от которой не избавиться: если только смерть не является выходом в золотую подлинность...